



РЕЦЕНЗИИ

СУММА ВОЗМОЖНОГО

Михаил Эпштейн. Проективный словарь гуманитарных наук.

Москва: Новое литературное обозрение, 2017. 616 с.

Балла-Гертман

Ольга Анатольевна

заведующая

**отделом философии и
культурологии журнала
«Знание-Сила»**

(г. Москва)

e-mail: gertman@inbox.ru

Главная, по собственному признанию автора, книга российско-американского философа, филолога, теоретика культуры, эссеиста, профессора университета Эмори (США) и почётного профессора Даремского университета (Великобритания) Михаила Эпштейна, неспешно собиравшаяся на протяжении срока, соразмерного нескольким культурным эпохам — тридцати трёх лет, а назревавшая и продумывавшаяся и того больше (итог, по словам самого Эпштейна, почти полувековой работы автора в разных областях гуманитарных наук), представляет собой, кажется, полную сумму авторского видения мира. По крайней мере она вбирает в себя всё самое в нём существенное, фиксирует его структуру и способна дать представление не только о содержании этого мировидения, но и о самом методе, по которому оно строится. (Кстати, в данном случае это — вещи совершенно неразъемлемые, предполагающие друг друга.)

По существу это, конечно, никакой не словарь, то есть не справочник, не сумма очевидного и устоявшегося (скорее, даже противоположность этому: сумма того, что мыслимо, возможно, воображаемо — и уж точно неочевидно). В отличие от типичных для нашей культуры словарей, картографирующих уже известные территории и помогающих на них ориентироваться, этот — карта того, что ещё не пройдено никем (разве только — мыслью составителя), того, чему, может быть, ещё предстоит возникнуть.

При этом форма словаря, то есть выстроенность внутри каждого из четырнадцати тематических разделов по простейшему организующему принципу — по алфавиту, здесь принципиальна. Алфавитная организация имеет перед прочими мыслимыми то преимущество, что сочетает отчётливость с гибкостью — она сообщает этой сумме возможного структурную открытость — текст, устроенный таким образом, всегда может быть достроен в любом месте и в любую из мыслимых сторон. (В некотором смысле перед нами — гуманитарный конструктор; детали, разложенные по алфавитным ящичкам.) Охватывая труднопредставимое для простого частного человека количество областей гуманитарного внимания (той самой «гуманистики» — этот термин автор предпочитает выражению «гуманитарные науки», поскольку включает в неё, кроме наук, также технологии и практики — словом, всё, что занимается человеком), словарь, безусловно, энциклопедичен, — с другой стороны, это энциклопедичность чуть ли не монотематичная, выстроенная вокруг одного тематического стержня: возможностей новых смыслов и форм и их возникновения. Будучи подробно-аналитическим, он одновременно и синтетичен, так как представляет собой синтез всего многодесятилетнего опыта автора в разных областях гуманитарного знания и воображения, приводит разные стороны этого опыта в соответствие друг с другом.

Что касается существа написанного, то это персональная теория культуры (и даже так: персональная культурная динамика, поскольку занимается культурой в аспекте движения и роста), персональная антропология; отчасти — и персональная онтология. Но кроме того, этот текст текстов (не исключая всего вышеназванного) может быть назван ещё и произведением своего рода искусства, практически не осуществлённого в нашей культуре и даже не осознанного в ней как следует. По крайней мере других русскоязычных авторов, кроме Эпштейна, кто занимался бы этим систематически, я не припомню. Между тем возможность такого искусства была проговорена на английском языке ещё Френсисом Бэконом в 1620 году. Это искусство создания новых наук и искусств, которое, напоминает нам Эпштейн в предисловии, в представлении Бэкона было среди искусств «самым насущным и недостающим»¹.

В классификации наук, предложенной им в «Великом восстановлении наук», Бэкон, как известно, нарочно оставил место для дисциплин воображаемых и «желательных» (*desiderata*).

«...Я, кажется, завершил наконец, — писал он, подводя итоги работы над своим «Новым Органоном», — создание этого маленького глобуса интеллектуального мира, стараясь сделать его как можно точнее, обозначив и перечислив те его части, на которые, по моему мнению, не были до сих пор систематически направлены энергия и труд человечества и которые всё ещё остаются недостаточно разработанными»².

Именно это место бэконовской классификации заполняет словарь Эпштейна, при всей своей несомненной резкой индивидуальности продолжающий — хотя

¹ *Эпштейн М.* Проективный словарь гуманитарных наук. М. : Новое литературное обозрение, 2017. С. 8.

² Там же. С. 7.

с неочевидной стороны — большую традицию: он ставит себе целью «”продуцировать новые гуманитарные искусства” или “технологии” <...> на основе гуманитарного познания»³.

Не говоря уже о том, что он продолжает её самой словарной формой высказывания, ориентируясь на известные образцы. «Меня всегда привлекали и вдохновляли, — писал он вскоре после выхода “Проективного словаря...”», — словари, написанные одним автором, такие, как “Поэтический словарь” А. Квятковского (1940, 1966), “Ключевые слова: Словарь культуры и общества” Р. Уильямса (1976), “Концепты. Словарь русской культуры” Ю. Степанова (1997), “Философский словарь” А. Конт-Спонвиля (2001), “София-Логос. Словарь” С. Аверинцева (2005). Эти компендиумы идей и терминов, продолжая традиции “Исторического и критического словаря” П. Бейля (1697), несут отпечаток авторской личности и по сути являются самостоятельными произведениями гуманитарной мысли в жанре словаря. В них все статьи связаны общим замыслом, отсылают друг к другу и выступают как главы единой книги»⁴.

В точности то же самое происходит и в книге Эпштейна: и отражение авторской личности, и постоянная отсылка словарных статей друг к другу (благодаря которой книгу можно читать с любого места, и уж не бесконечно ли?) — что не отменяет её внутренней разнородности.

Слово «разнородность» в моих рецензентских устах в данном случае и не помышляет быть осуждением. Напротив того, она чутко отражает разнообразие и разноустроенность областей авторского внимания и работает на его объёмность. Помимо конструирования новых возможных дисциплин («микropsихология», «стереоэтика», «фатумология», «этика дифференциальная (разностная)», «перформативная лингвистика») и практик («эгонавтика», «семиургия»), а также новых терминов для понятийной артикуляции того, что прежде ею не улавливалось («живосердечие», «страдость», «суечислие»), Эпштейн занимается также пересмотром накопленного культурной памятью содержания — даже не понятий, а просто слов, ведущих свободное внетерминологическое существование («веселье», «душевность», «игра», «любовь», «молчание», «мудрость», «обаяние», «судьба»), и жанров («манифест»), существующих очень давно, и добавления к накопленному собственным содержаниям (в каком-то смысле переписывает их по-своему, но с учётом уже написанного). Но и ещё, помимо того, он говорит здесь несколькими разными голосами: философа (мыслящего строгими категориями), историка культуры, литературоведа, богослова, публициста, эссеиста и лирика — почти поэта (изъясняющегося образами и метафорами).

Ещё одна важная работа, которую тут выполняет автор — помимо заполнения «*центрообразующих пробелов* в терминологической системе гуманитарных наук»⁵ (собственно, в ходе этого заполнения), — это работа рационализации. Он доводит до полного осознания содержания слов, ведущих прежде дикую жизнь мнимо простых, повседневных, выводит их с интуитивно улавливаемой периферии в центр внимания и тем самым доразрывает их до

³ Там же. С. 8.

⁴ <https://snob.ru/profile/27356/blog/122275>

⁵ Эпштейн М. Указ. соч. С. 8.

терминологического статуса, делает их способными функционировать в качестве философских категорий: так он поступает со словами, например, «выверт», «глубина», «интересное», «событие», «упаковка»...

«Словарь» хорош ещё и тем, что авторефлективен: среди его статей есть и статья («Проективный словарь») о нём самом — о жанре, к которому он принадлежит, о его истоках, задачах, устройстве и об особенной разновидности слов, населяющих его страницы, — о *протологизмах*.

Отражающий личность автора в смысле структуры интересов и направлений внимания, «Словарь» отражает её ещё и в смысле двуязычия. Каждому, без изъятия, стоящему во главе словарной статьи слову русский американец Эпштейн предлагает его английское соответствие, а то и не одно то есть каждое слово сопровождается английской микрорефлексией. Не очень понятно, из каких именно соображений это делается; разве из тех, что автору нужно привести в согласование обе языковых стороны своего мировосприятия. Получается, во всяком случае, интересно и заставляет задуматься о словообразующем и смыслоуловительном потенциале нашего языка. Русские варианты нередко оказываются новее и эффектнее английских: например, русскому «мыслительству», слову не самому частотному, соответствуют вполне обыденные «thinking» и «cogitation». (Сам проективный словарь, впрочем, называется по-английски не только «projective dictionary», но ещё и с завидной компактностью и эффектностью: «predictionary».) Английским вариантам нередко сопутствуют вполне, видимо, органичные для английской речи латинизмы: так, русскому «можествованию» соответствуют одновременно «potentia» и «ableness», «многомирию» — только латинизм «multiversality», а «овозможению» — вообще два латинизма сразу: «potentiation» и «possibilization», тогда как русский язык, обнаруживая высокую пластичность, чаще справляется собственными средствами. Иногда, довольно изящно, обходясь одним словом там, где английскому требуется целая конструкция: вполне органичный глагол «божествовать» автор переводит на английский как «to act god-wise». Бывает, однако, и так, что русскому этих средств не хватает, и он частично заимствует строительные материалы у иных языков — например, у той же латыни, — и тогда на свет являются кентавры вроде «негаобъекта» и «негамира», где к русским корням приращен латинский, взятый у «negatio». Это частный случай характерной для Эпштейна склонности к пересечению границ.

Кажется, Эпштейн вообще принципиально и постоянно пересекает разного рода границы. Прежде всего между науками и практиками, между созерцанием, рефлексией и действием. Так, он включает в Словарь на равных правах статьи об обществе и политике, о технике и интернете, о жизни и эросе (объединяет их то, что всё это — предметы гуманитарного осмысления, включаемые в гуманитарный дискурс и работающие на прирост гуманитарного понимания). Более того, он пересекает границу между знанием и самим бытием — включает знание в континуум бытия: список разделов словаря, сразу после задающих общее видение статей о «гуманистике в целом» и «философии», открывают «Бытие» и «Реальность». Не то чтобы он эти границы размывает, но он делает их принципиально проницаемыми, чему способствует и постоянная отсылка

статей словаря друг к другу: в каждую из статей, таким образом, оказывается несколько входов из разных смысловых пластов.

Сложно оценить, не принадлежа к англоязычной культуре, что означает для неё Эпштейн, пишущий значительную часть своих работ по-английски, и какое место он в ней занимает. Знать это было бы интересно, поскольку важная часть его работы — расширение возможностей самого языка, разведывание и разработка его пластики, выявление и востребование его незаметных ресурсов, то есть то, чем по большей части заняты поэты. Известно лишь то, что отдельные изобретённые им — и включённые в этот словарь — термины уже давно вошли в широкий обиход как в русской, так и в английской языковых средах («метареализм», «транскультура», «видеоократия», «хроноцид»). Но значение Эпштейна, самого типа его культурной позиции представляется мне выходящим далеко за рамки словоизобретательства, хотя бы и очень удачного. Куда важнее в нём то, что он выявляет и разрабатывает точки роста современной нам культуры, возможности распределения внимания в ней. Иные посаженные им ростки, может быть, не примутся в рост и заглохнут, даже с высокой вероятностью, потому что на полноценное освоение и развёртывание возможностей, намеченных Эпштейном в «Словаре» — как, впрочем, и на их качественное, обоснованное оспаривание, — потребовалась бы работа целого института, а то и не одного. Но это само по себе тоже не так важно: важна сама плодотворная избыточность, стимулирующее, раздражающее, провоцирующее воздействие на культуру, на носителей её языка.

Место же его в русской культуре видится мне уникальным, а одиночное предприятие по выявлению возможностей гуманитарного смыслообразования — попросту героическим. Каждая из вошедших сюда словарных статей — даже из тех, что занимают всего абзац, вроде «Психонавтики» — могла бы быть дорасчена до полноценного философского трактата; а некоторые, как, например, статья о «бедной религии», фактически их собою и представляют. Иные, впрочем, совершенно самодостаточны даже в объёме не более того же абзаца, как, например, та, что посвящена «счатьице» — частице счастья, краткому его мигу, делающему «его переживание ещё острее»: «Как у фотонов, у них нет инертной массы покоя — того, что мы зовём «счастьем». Они мгновенно вспыхивают, но нельзя определить их массу и местоположение, они лишь там, где мы способны их переживать.» Тут Эпштейн говорит метафорическим языком эссеиста, который у него — полноценный мироописательный язык, не нуждающийся в переводе.